



Андрей Левонович Шляхов
Лев Толстой и жена. Смешной
старик со страшными мыслями

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4441999

*Андрей Шляхов. Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями: АСТ, Астрель,
ВКТ; Москва; 2011*

ISBN 978-5-17-071534-3, 978-5-271-32627-1

Аннотация

"Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете. ...Но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы..." Так говорил о Софье Андреевне Лев Николаевич Толстой. Вот только абсолютно счастливый человек не смог бы написать самую гениальную фразу о несчастных семьях. Таинственная, даже отчасти пугающая личность Толстого притягивала и будет притягивать и писателей, и читателей. Однако акцентируя внимания на последних годах жизни классика, на его странном побеге, не стоит забывать, что юность и зрелость Толстого, его личная жизнь куда как более непонятны и противоречивы. Новая книга известного писателя Андрея Шляхова о великом Льве Николаевиче и его на первый взгляд скромной и тихой супруге.

Содержание

От автора	4
Пролог	6
Глава первая	9
Глава вторая	14
Глава третья	20
Глава четвертая	25
Глава пятая	32
Глава шестая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Андрей Шляхов

Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями

Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы... у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы...

Л. Н. Толстой. «Утро помещика»

Из страстей самая сильная и злая и упорная – половая, плотская любовь... Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно тонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою... Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Л. Н. Толстой. «Крейцера соната»

От автора

Частная жизнь Льва Толстого была увлекательнее любого из его романов. Почему? В первую очередь, потому что Лев Николаевич на протяжении всей жизни пытался обрести счастье.

Далеко не всегда талант, знатное происхождение и финансовая независимость могут сделать человека счастливым.

Самая знаменитая цитата «из Толстого» – начало романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Если принять эту фразу за убеждение самого Толстого, то уже по ней можно сделать вывод о том, что в семейной жизни великий писатель был не очень-то счастлив. Иначе бы он знал, что счастье, так же как и его отсутствие, не может быть единым, универсальным. Каждая счастливая семья на деле счастлива по-своему.

Впрочем, в качестве интригующего, провокационного начала, приковывающего внимание к роману, эта фраза великолепна. Лев Николаевич умел завладеть вниманием, умел и удивить, и озадачить. Это относится не только к его творчеству, но и ко всей его жизни, в том числе и семейной.

В «Анне Карениной» можно прочесть следующее: «Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в тебе самом».

Любовь заложена в основе счастья изначально, и не может быть счастья без любви. «...Счастье бывает только в тебе самом», верно, бывает, если есть любовь...

Была ли любовь в жизни Льва Толстого? И если была, то кого он любил?

Кем стала для великого писателя его жена? Добрым ангелом? Верной почитательницей? Хранительницей домашнего очага? Или, быть может, завистливой недоброжелательницей, ревновавшей мужа к его славе?

Каким мужем оказался Лев Толстой? Нашла ли Софья Андреевна в нем тот идеал, о котором она грезила в юности? И что представляла собой их семья – союз двух любящих сердец, упоительное единство двух возвышенных душ, ристалище, на котором никому так и не удалось одержать полной победы, или сосуществование двух личностей, основанное на взаимной выгоде?

Может ли гений вообще быть счастлив? Ведь он так непохож на остальных людей?

И можно ли быть счастливой, живя вместе с гением? Не уподобляется ли спутник жизни гения земледельцу, возделывающему плодородные земли у подножия вулкана и постоянно с опаской оглядывающемуся – не началось ли извержение?

Но – довольно вопросов! Пора приниматься за чтение, пора узнавать ответы...

Пролог

В феврале 1854 года Берсам нанес визит их старый знакомый, граф Лев Николаевич Толстой, друг детства матери семейства Любови Александровны. Лев Толстой бывал у Берсов и раньше, но этот визит был особым. Старый знакомый предстал в новом, героическом, облике.

Герой служил на Кавказе, принимал участие в настоящих сражениях, недавно получил офицерский чин и сейчас следовал к новому месту службы – в Дунайскую армию, штаб которой был расквартирован в румынском Бухаресте. Следовал, надо сказать, весьма неспешно, сделав более чем тысячеверстный крюк для того, чтобы побывать дома, в имении Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии, и немного развеяться в первопрестольной. Чин у Толстого был невелик – всего-навсего прапорщик, но благодаря своей манере держаться, манере, в которой энергичность гармонично сочеталась с серьезным, чуточку усталым видом много повидавшего человека, он произвел неизгладимое впечатление на всех трех дочерей врача Московской дворцовой конторы, гофмедика Андрея Евстафьевича Берса. Впечатление это усиливалось щегольским видом бравого воина – роскошной шинелью со стоячим бобровым воротником, новым, с иголки, офицерским мундиром, еще не успевшими потускнеть погонами и приятно поскрипывающей при каждом движении портупеей. Одиннадцатилетняя Лизочка, десятилетняя Сонечка и восьмилетняя Танечка не сводили с гостя сияющих, восторженных глаз – герои бывали у них дома не часто. Отец девочек имел чин коллежского асессора, соответствовавший майорскому, но, увы, в нем не было ровным счетом ничего героического. Обычный врач – участливый взгляд, мягкое обращение и, граничащая с занудством, профессиональная привычка в каждом вопросе непременно докапываться до первопричины.

Восхитительный гость был не только героем, но и писателем. В некоторых персонажах его автобиографической повести «Детство» проступали столь явственные черты родственников Любови Александровны, что у Берсов эта повесть стала семейным чтением, чем-то вроде семейной летописи. Сонечка настолько увлеклась «Детством», что самозабвенно заучивала наизусть огромные отрывки из повести. Память у нее всегда была хорошая.

Отец Любови Александровны Берс, Александр Михайлович Исленьев, был соседом и приятелем Николая Ильича Толстого, отца Льва Николаевича. Оба они были страстными охотниками. Красное, имение Исленьевых, находилось всего в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны, благодаря чему Николай Ильич и Александр Михайлович проводили вместе много времени, то и дело гостя друг у друга. Маленький Лева не преминул влюбиться в очаровательную проказницу Любочку, бывшую тремя годами старше его. Любочка не оценила чувства и кокетничала со старшими братьями своего обожателя, за что тот в порыве ревности наказал ее, столкнув с балкона яснополянского дома.

Сергей Берс, брат Лизы, Сони и Тани, рассказывал в своих воспоминаниях: «По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича, Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем.

Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении “Детство”, он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которой и была моя матушка девяти лет от роду, которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: “Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери”».

Любочка носила фамилию Иславина, так как считалась незаконнорожденной дочерью от третьего по счету брака своего отца с княгиней Козловской, сбежавшей от первого мужа и тайно обвенчавшейся с Исленьевым. Разъяренный князь Козловский, желая хоть чем-то досадить своей неверной супруге, выставившей его на посмешище, добился признания ее брака с Исленьевым незаконным, из-за чего все шестеро детей от этого брака были лишены права носить настоящую отцовскую фамилию, а были вынуждены довольствоваться несколько измененным вариантом.

В небольшой казенной квартире Берсов, расположенной в здании Кремлевского дворца, было не слишком просторно, но уютно, несмотря на то, что громоздкая и неудобная казенная же мебель вынуждала не ходить, а обходить, не располагаться, а пристраиваться. Толстого усадили на самый удобный, правда, немного низкий, стул из красного дерева. После его ухода Сонечка в избытке чувств повязала на стул ленточку – праздник, поселившийся в ее душе, требовал каких-то торжественных действий.

Лев Толстой мелькнул ослепительной вспышкой и уехал в Бухарест – сражаться с неприятелем. При мысли о нем – а мысли эти приходили очень часто – сердца трех сестер начинали биться часто-часто, и, должно быть, каждая из них мечтала о том, как в один поистине прекрасный день граф Толстой возьмет ее за руку и поведет под венец. Трепещущее сердце на мгновение замирало, чтобы не спугнуть столь упоительное видение, вокруг начинала звучать волшебная музыка, а темная даже в ясный день квартира наполнялась ослепительным сиянием... Ах, уж эти девичьи мечты, вдохновившие ехидного романтика Беранже посвятить им целое стихотворение:

*Полузакрыты мечтами
Юной красавицы взоры.
Блещут на солнце, с цветами,
Кружев тончайших узоры.
Полузакрыты мечтами
Юной красавицы взоры.
стр1
Ясно улыбка живая
Мысль перед сном сохранила.
Спит она, будто играя
Всем, что на свете ей мило.
Ясно улыбка живая
Мысль перед сном сохранила.
стр1
Как хороша! Для искусства
Лучшей модели не надо!
Видны все проблески чувства,
Хоть не видать ее взгляда.
Как хороша! Для искусства
Лучшей модели не надо!
стр1
Сон чуть коснулся в полете
Этой модели прекрасной.
Что ж в этой сладкой дремоте
Грудь ей волнует так страстно?
Сон чуть коснулся в полете
Этой модели прекрасной...*

(перевод В. С. Курочкина)

Навряд ли в 1854 году Лев Толстой мог всерьез задуматься о женитьбе на ком-то из дочерей Берсов. Все произошло гораздо позже. Одно время казалось, что Лев Николаевич посватается к самой старшей, Лизе, но в итоге «счастье» улыбнулось Сонечке – именно она стала графиней Толстой. Не была обойдена вниманием графа и Таня, послужившая прототипом Наташи Ростовской из «Войны и мира».

Рука графа досталась средней из сестер, но свою долю страданий получили от него все трое... Впрочем, любая история хороша лишь в том случае, если рассказывается по порядку...

Глава первая Толстые и Волконские

Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва, был хорош собой и очень гордился своим происхождением, шедшим от литовского рыцаря Индроса, который в XIV веке перешел в православную веру и поселился в Чернигове. Праправнук рыцаря Индроса получил от великого князя Василия Темного прозвище Толстый, или, как тогда говорили, Толстой, с ударением на последнем слог. Прозвище стало родовой фамилией, которую прославил

Петр Андреевич Толстой, дослужившийся при Петре I до поста начальника Тайной канцелярии. Высокий пост вместе с богатыми поместьями Петр Андреевич получил за то, что сумел уговорить вернуться в Россию из Неаполя беглого царевича Алексея. На родине царевича вместо отцовского прощения ждали следствие, состоящее из допросов под пытками, тайный суд и тайная же казнь. Все это происходило при деятельном участии Петра Толстого. Императрица Екатерина, признательная Толстому за то, что он расчистил ей путь к трону, в день своей коронации 7 мая 1724 года даровала Петру Андреевичу графский титул.

Сменивший на престоле Екатерину Петр II, сын казненного царевича Алексея, отомстил за смерть отца, сослав Петра Толстого, недавно разменявшего девятый десяток, в Соловецкий монастырь, где тот и умер в 1729 году. Казалось, что звезда рода Толстых закатилась навсегда, но Бог миловал – в 1760 году императрица Елизавета Петровна возвратила графское достоинство, отобранное у Петра Андреевича Толстого, его внуку Андрею Ивановичу, прадеду Льва Николаевича.

«Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слышал от тетушки такой рассказ, – вспоминал Лев Толстой. – Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно, в возке, из которого вынуто было сиденье, для того, чтобы крышка возка не повредила высокой прическе, молодая графиня, вероятно лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем, и вернулась домой.

Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему проститься».

О родителях своего отца Лев Николаевич вспоминал так:

«Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие о ее характере, она была недалекая, малообразованная, – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщина...

Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его, Белевского уезда, Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, взаймы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, кончились тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани.

Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения».

Граф Илья Толстой, промотав как свое весьма солидное состояние, так и состояние жены, сохранил легкость в отношении к деньгам и на губернаторском посту. Губернаторство Ильи Андреевича кончилось скверно – специальная сенатская комиссия занялась проверкой его счетов. По официальной версии граф заболел от расстройства, вызванного проверкой, и вскоре скончался. По неофициальной – он покончил с собой, чтобы избежать позора.

Его сын Николай пытал счастья на военном поприще, но не очень удачно – 14 марта 1819 года он был уволен по болезни в отставку с присвоением чина подполковника. В грозном 1812 году Николай начал службу гусарским корнетом, в скором времени стал адъютантом генерала Горчакова, своего близкого родственника по матери, но затем попал в плен к французам и был освобожден лишь в 1815 году после вступления войск союзников в Париж. Сделать значимую карьеру не удалось. Не видя никаких перспектив в продолжении службы, Николай Толстой вышел в отставку и поселился с родителями (отец его тогда еще был жив) в Казани.

В семье Толстых с детства воспитывалась бедная сиротка из дальних родственниц по линии Горчаковых – Татьяна Александровна Ергольская, которая росла вместе с Николаем и его сестрами Александрой и Пелагеей.

Вот как вспоминал о Татьяне Ергольской сам Лев Толстой: «Третье, после отца и матери, самое важное в смысле влияния на мою жизнь, была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка; свернули билетки и положили под образа; помолившись, вынули, и Лизанька досталась Тат. Сем., а черненькая бабушке. Таничка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцевола и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. “Я сделаю”, – сказала она. “Не сделаешь”, – сказал Языков, мой крестный отец, и, тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. “Вот приложи это к руке”, – сказал он. Она вытянула голую руку, – тогда девочки ходили всегда декольте, – и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидели ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная.

Должно быть, она была очень привлекательная со своей жесткой черной, курчавой, огромной косой, агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «*Toinette, oh, elle etait charmant!*»¹.

Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

¹ «Гуанет, о, она была очаровательна!» (фр.).

Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери. . .»

Это в гору воз поднимается трудно, требуя, чтобы его постоянно волокли или подталкивали, под гору он катится сам по себе, все набирая и набирая скорость. Благополучие рода Толстых истаяло, словно апрельский снег, поместья были проданы, и отставной подполковник Николай Толстой был вынужден поселиться с матерью и кузиной в Москве (квартира их была весьма скромной) и, ради хлеба насущного, вновь поступить на военную службу. 15 декабря 1821 года его определили в Московское военно-сиротское отделение на должность смотрительского помощника. Иначе говоря, он стал заместителем директора сиротского приюта. Пусть приют был не совсем обычным, а предназначался для детей военных, все равно это обстоятельство ничего не меняло – унынием и бедностью оборачивалась жизнь. Хорошо еще, что Николаю не пришлось заботиться о сестрах. Александра к тому времени вышла замуж за графа Остен-Сакена, а Пелагея – за довольно богатого казанского помещика Юшкова.

Судьба сжалилась над Николаем и послала ему шанс. Шанс звался Марией Николаевной Волконской Мария была некрасивой, далеко не юной, но очень богатой и принадлежала к знатному роду, ведущему свое происхождение от самого Рюрика, одному из потомков которого в XIV веке достались во владение угодья на берегах реки Волконы близ Тулы. Отец Марии, князь Николай Сергеевич Волконский, не чаял души в единственной дочери, оставшейся без матери в раннем детстве. Ее мать, княгиня Екатерина Дмитриевна Трубецкая, умерла в 1792 году, когда Марии было два года. Благодаря заботам отца Мария получила прекрасное образование. Кроме обязательного французского языка, ставшего родным языком русской аристократии того времени, Мария знала английский, немецкий и итальянский. Она разбиралась в искусствах и сама великолепно музицировала на фортепьяно, а кроме того, была знакома с алгеброй и геометрией.

Как уже было сказано, Мария не была красива, больше всего ее портили густые отцовские брови, хорошо смотрящиеся на многих мужских лицах и совершенно неуместные на женском. Стараниями отца у нее появился жених – один из двух сыновей князя Сергея Голицына, но бедняга умер от тифа до свадьбы. Мария восприняла смерть жениха как знак свыше и более о замужестве не мечтала, решив посвятить свою жизнь не мужу, а отцу.

Провинциальная жизнь в княжеском имении Ясная Поляна текла размеренно и скучно, пока 3 февраля 1821 года не умер старый князь. Его смерть стала потрясением для дочери, которой недавно исполнился тридцать один год. Мария остро осознала свое одиночество и свою никчемность. Если раньше она жила для отца, то с его уходом жизнь ее потеряла свой смысл.

Остаться в Ясной Поляне, где все напоминало об отце, было не в состоянии, и княжна переехала в Москву, где у нее был собственный двухэтажный дом. Прижилась, освоилась и даже начала выезжать, скорее всего не в поисках подходящей партии (невесты, разменявшие четвертый десяток, в тогдашнем обществе не котировались совершенно), а для того чтобы развлечься.

Граф Николай Ильич Толстой, с которым Мария познакомилась в свете, оказался милым, обходительным и холостым. Познакомились они не случайно, сам Лев Николаевич писал о том, что его родителей свели родственники с обеих сторон. Мария уже и не надеялась выйти замуж, а Николай уже успел смириться с мыслью о том, что окончат дни свои в бедности, считая каждый грош. Но – не сбылось, а, если точнее – сбылись мечты. 9 июля 1822 года княжна Мария Николаевна Волконская вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого, отдав ему руку, сердце, нерастрченную любовь, имение в Ясной Поляне и общим счетом восемьсот крепостных душ мужского пола (то есть восемьсот крепостных крестьянских семей) в Тульской и Орловской губерниях.

Брак, в котором хотя бы с одной из сторон присутствует расчет, зачастую оказывается гораздо крепче брака, заключенного по взаимной горячей любви. Николай с удовольствием устроился под каблуком у жены, превосходившей его умом и твердостью характера, и был рад возможности зажить на довольно широкую ногу. Мария сумела наладить более-менее сносные отношения не только со своей весьма своенравной свекровью, но и с кухней своего мужа. В семье воцарилась гармония или, может быть, весьма достоверное ее подобие.

21 июня 1823 года Мария Николаевна родила первенца Николая. Вскоре счастливый отец вышел в отставку, московский дом был продан, и все семейство переехало в Ясную Поляну, где Николай Толстой примерил на себя роль помещика, которая пришлась ему по душе. Хозяйственные заботы перемежались с визитами и охотами, а если вечер выдавался тихим, то граф проводил его за чтением – в Ясной Поляне стараниями князя Николая Сергеевича была собрана отличная библиотека.

Жизнь наладилась. 17 февраля 1826 года Мария родила второго сына, которого назвали Сергеем. 23 апреля 1827 года на свет появился третий ребенок – Дмитрий. Годом позже родился четвертый сын, о котором в церковной книге было записано: «1828 года, августа 28 дня сельца “Ясной Поляны” у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архимом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым. При крещении восприемниками были: Белевского уезда помещик Семен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова».

Графиня Пелагея Николаевна Толстова приходилась Льву Николаевичу бабушкой по отцу.

2 марта 1830 года у Толстых родилась девочка, которую назвали Марией в честь матери. Роды плохо сказались на здоровье матери – у нее появились сильные головные боли, сопровождаемые лихорадкой. Усилия врачей и молитвы оказались тщетными, несчастная угасала на глазах и 4 августа 1830 года скончалась, оставив пятерых детей своих на попечение безутешного супруга. Семейный союз, сложившийся столь удачно, продлился всего восемь лет.

Спустя почти семьдесят шесть лет, 10 марта 1906 года, Лев Николаевич Толстой напишет: «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление – желание ласки – любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому я мог бы прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей – ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой любви тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда».

У него не было ее портрета, один лишь силуэт, вырезанный из черной бумаги еще в детском возрасте, но это не помешало воображению создать Образ. «Я отчасти рад этому, – признавался Толстой, упоминая об отсутствии изображений матери, – потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно... Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне». Память о матери превратилась в настоящий культ, которому великий писатель служил всю свою жизнь. Сердце сына принадлежало матери, лучшей из женщин, самой любимой, родной, единственной, и для других женщин места в нем не оставалось.

«Мать моя была нехороша собою, но очень хорошо образована для своего времени, – писал Лев Николаевич. – Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к художеству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было шесть лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата; их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, их равнодушие к суждению людей, – это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее...

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость всей моей жизни, неоцененная» и т. д. – были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее...

Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: «*mon petit Benjamin*» (намек на библейского Вениамина младшего сына патриарха Иакова. – *А.Ш.*)».

Глава вторая Младший брат

После смерти Марии Николаевны обязанности хозяйки дома сами собой перешли к Татьяне Ергольской. Спустя шесть лет Николай Толстой предложит ей выйти за него замуж, но она откажется, пообещав, что по мере своих возможностей будет и впредь стараться заменить мать его детям и никогда не покинет их.

Отдав всю свою нежность детям любимого человека, Татьяна сумела если не заменить им мать, то окружить их не менее сильной любовью. Дети платили ей взаимностью, не чая души в тетушке Туанет, таково было домашнее прозвище Ергольской. Лев Толстой отметит огромное влияние, которое тетушка Туанет оказала на его жизнь. «Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни... Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно добрых отношениях к ближайшим лицам, которые не могли быть нарушены, и в неторопливости, в неосознавании убегающего времени».

Ранние детские воспоминания Льва Толстого полны переживаниями по поводу собственной несвободы. Не в этом ли крылись истоки его вечного стремления идти наперекор всему, всегда поступать так, как хочется, как диктует собственная воля, без оглядки на окружающих, да и на все общество в целом?

«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме, но я помню, что двое; и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче...»

«...Посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

До пяти лет Леву воспитывала няня при участии тетушки Туанет, занимавшейся со всеми мальчиками французским языком, а затем он был отдан в руки воспитателя Федора Ивановича Росселя, добродушного и снисходительного немца. Лева поначалу побаивался нового воспитателя, но быстро привык к нему и даже полюбил. Позже, в повести «Детство», Лев Николаевич не оставит без внимания своего первого воспитателя и опишет его таким, каким помнил, не забыв ни домашнего халата, в котором тот имел обыкновение расхаживать, ни смешного колпака с кисточкой. Писатель лишь сменит имя своего героя с Федора на Карла. «Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты».

Из братьев он был самым младшим, что обрекало его на вечное им подражание. Братья были разными, и каждый из них был дорог Левушке по-своему. Дмитрий, то ли в силу своего мягкого характера, то ли из-за минимальной, в сравнении с другими братьями, раз-

ницы в возрасте, был ближе всего ему по духу. Сергей восхищал множеством своих талантов и некоторой загадочностью. Старший брат, Николай, был неистощим на выдумки и любил изобретать новые игры и забавы. Он весьма увлекательно рассказывал братьям обо всем, что приходило ему на ум, будь то таинственная зеленая палочка, хранящая секрет всеобщей любви, или путешествие на Фанфаронову гору. Братья тотчас же загорались идеями Николая и были готовы пойти ради них на великие жертвы. Так, например, на Фанфаронову гору вместе с Николаем мог отправиться лишь тот, кто выполнит ряд условий. «Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе, – вспоминал Лев Толстой. – Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не выдать зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн».

Отец, Николай Ильич, детям много времени не уделял. Мог под настроение заглянуть в детскую, посмеяться вместе с детьми над рассказанной им же самим историей, мог попросить прочитать стихотворение и, похвалив за старание, удалиться. Он никогда не был близок к своим детям, так же как и его сын Лев. То ли наследственность сказывалась, то ли маленький Левушка неосознанно скопировал отцовскую манеру поведения и перенес ее в свою семью.

«Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полубившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: “К морю”: “Прощай, свободная стихия...” и “Наполеон”: “Чудесный жребий совершился: угас великий человек...” и т. д. ... Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в “Графе Нулине”».

Детство Толстого в Ясной Поляне было веселым, и, если бы не ранняя смерть матери, его можно было бы назвать безоблачным. Все вокруг было наполнено любовью, нежностью, счастьем. «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? – писал во взрослом возрасте Лев Толстой. – Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?»

Детям в Ясной Поляне жилось вольготно. Игры, прогулки и всяческие развлечения занимали гораздо больше времени, чем учеба. В особый восторг Левушку приводили ночевки у бабушки Пелагеи Николаевны, выпадавшие поочередно каждому из пяти детей. Бабушка долго мыла руки, пуская при этом презабавнейшие мыльные пузыри, а затем начиналось подлинное волшебство – слепой сказочник из крепостных заводил свой рассказ: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

Лева не слушал сказки, его завораживал таинственный вид бабушки, лежавшей в постели, завораживали тени, колеблющиеся на стене в дрожащем свете лампы, заворажи-

вали непонятные и оттого казавшиеся торжественными слова. Слова убаюкивали, и Левушка засыпал.

«Бывает за обедом и еще удовольствие, – вспоминал Толстой, – когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.

– Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! – говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое – буква, второе – птица, а все – маленький домик. Это б – утка – будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе».

Кроме тетушки Туанет, была еще и тетушка Алин, Александра Ильинична, сестра Николая Ильича, та самая, которая вышла замуж за графа Остен-Сакена. Замужество оказалось крайне неудачным – граф страдал психическим заболеванием, которое делало совместную жизнь с ним опасной в прямом смысле этого слова. Вскоре после свадьбы он попытался застрелить жену из пистолета, а в другой раз вооружился бритвой и чуть было не отрезал несчастной язык. Графа поместили в лечебницу, а беременная Александра поселилась у брата. Пережитые волнения не могли не сказаться на ее ребенке, который родился мертвым. Мать и брат, опасаясь, как бы Александра в отчаянии не наложила на себя руки, солгали ей, что ребенок жив, выдав за него новорожденную девочку, взятую со стороны. Не получив земного счастья, Александра стала искать его на небесах. Она обратилась к Богу, ходила в простых темных одеждах, денно и ночью молилась, строго соблюдала посты, пригласила странников, «божьих людей», которые останавливались на ночлег в доме Толстых. От хорошенькой восторженной девушки, какой она была когда-то, остались только голубые глаза, да и они потускнели от горя.

Помещик Темешов, дальний родственник по Горчаковым, живший в сорока верстах от Ясной Поляны, пристроил Николаю Ильичу на воспитание свою незаконнорожденную дочь Дунечку. «Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса, – вспоминал Толстой. – Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез... Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений».

Когда Лева исполнилось восемь, семья переехала в Москву, чтобы дети могли там продолжить образование, для которого уроков одного лишь Росселя было недостаточно. Левушку переезд страшил – жаль было покидать родные стены, где все было таким знакомым, таким дорогим, и отправляться в неизвестность. Москва казалась далекой, чужой и даже враждебной.

10 января 1837 года семейство Толстых в полном составе выехало в Москву. Сто девяносто шесть верст «семейный обоз» преодолел за четыре дня – ехали обстоятельно, не спеша.

Москва поразила Лева, мальчику, уютный мирок которого доселе был ограничен Ясной Поляной, открылся настоящий мир! «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, – писал он в «Отрочестве», – что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании».

Поселились в снятом Николаем Ильичом доме Щербачева на Плющихе, ныне это дом № 11. Дом оказался большим – два этажа (правда, один – полуподвальный), фасад в одиннадцать окон, но, в сравнении с яснополянским, казался тесным. Но делать было нечего – пришлось привыкать к московской жизни. К лету мальчик в какой-то мере освоился, но тут пришла новая беда – умер отец. Николай Ильич Толстой не отличался здоровьем и к тому же много пил. 21 июня 1837 года он скорпостижно скончался от апоплексического удара. Произошло это прямо на улице в Туле, куда граф отправился по делам.

«Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер», – признавался Толстой в «Воспоминаниях».

Пелагея Николаевна тяжело переживала смерть сына, и хозяйственные заботы приняла на себя Александра Ильинична, в силу своей отрешенности от земной жизни начисто лишенная практицизма. Вскоре финансовые дела семьи пришли в упадок.

«Пришла беда – открывай ворота!» – в том же злосчастном 1837 году на Леву обрушилось новое несчастье. Бабушка, тяготевшая к гувернерам-французам, вознамерилась уволить добрейшего Федора Ивановича и заменить его неким Проспером Сен-Тома, молодым, бездушным и самодовольным. Педагог из Сен-Тома был никудышный – он не воспитывал своих учеников, а обламывал их, причем делал это грубо и безапелляционно. Лощеный француз настолько пленил старую графиню, что она доверила ему не только воспитание внуков, но и общее руководство чуть ли не дюжиной учителей, дававших им уроки. Федор Иванович умолил старую графиню оставить его при детях без жалованья, так как не в силах был расстаться с ними.

Несмотря на взаимную неприязнь, именно Проспер Сен-Тома первым разглядел в Леве будущего писателя. «У этого ребенка голова! – сказал он однажды. – Это маленький Мольтер!»

Лева рос задумчивым, всегда был занятым собой, своими мыслями. Его постоянно занимал один и тот же вопрос – что думают о нем окружающие, какие чувства испытывают они к нему. Самый младший из братьев был на удивление честолобив и всячески старался привлечь к себе внимание. Ради этого он мог даже выпрыгнуть из окна второго этажа.

Лева сильно переживал по поводу своей неказистой внешности, особенно усилились эти переживания, когда он впервые влюбился. Его избранницей стала Сонечка Колошина, очаровательная девятилетняя девочка, приходившаяся Толстым дальней родственницей. Мать Сонечки, Александра Григорьевна Салтыкова, была правнучкой графа Федора Ивановича Толстого, брата графа Андрея Ивановича Толстого, прадеда Льва Николаевича, и, следовательно, приходилась Льву четвероюродной сестрой. Короче говоря – седьмая вода на киселе. В «Детстве» Сонечка Колошина выведена под именем Сонечки Валахиной. «Я не мог надеяться на взаимность, – рассказывает автор устами главного героя Николеньки, – да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, чтобы за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно прилиwała к нему, и хотелось плакать».

Спустя пятьдесят с лишним лет Льву Толстому захочется написать роман о целомудренной любви, подобной его влюбленности в Сонечку Колошину, любви, «для которой невозможен переход в чувственность, которая служит лучшим защитником от чувственности». К чувственности у Льва Николаевича отношение было двойственным – то и дело проявляя ее в повседневной жизни, он рьяно открещивался от нее на словах. То ли находил в этом изысканное наслаждение, то ли просто пытался произвести впечатление на окружающих. Привычки, усвоенные в детстве, обычно сохраняются на протяжении всей жизни.

Чувство к Сонечке вскоре сменилось влюбленностью в Любочку Иславину, ту самую, которая впоследствии станет его тещей. Очаровывали Лева и мальчишки из числа сверстников, он вообще любил все красивое.

В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина, потом 2-й – Сабуров, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх... Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии (так написано автором. – *А.Ш.*), – но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Станный пример ничем не объяснимой симпатии – это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к тем людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».

«Два Пушкина» – это Саша и Алеша Мусины-Пушкины, друзья детства Льва Толстого, выведенные им в повести «Детство» под именем братьев Ивиных. О чувстве, которое испытывает Николенька Иртеньев (то есть сам автор) к Сереже Ивину (прототипом которого послужил младший из братьев Мусиных-Пушкиных – Саша), Толстой рассказывает очень подробно: «Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства – так много я дорожил им... Я... ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне не менее сильной степени другое чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему... Я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему... Между нами никогда не было сказано ни слова о любви, но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в наших детских отношениях... Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным, но выйти из-под него было не в моей власти. Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия».

Таким уж человеком был Лев Толстой – любовь обычно заканчивалась для него разочарованием. Да и само слово «любовь» великий писатель понимал по-своему. «Всякое влечение одного человека к другому я называю любовью», – писал он в «Отрочестве». И пояснял уже в дневнике: «Я понимаю идеал любви: совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал».

Можно вспомнить и о «Казаках», где отношения между Лениным и Лукашкой описываются так: «Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться». Схожая тема затронута и в «Войне и мире», где молодой офицер Ильин «старался во всем подражать Ростову и как женщина был влюблен в него».

25 мая 1838 года умерла бабушка. «Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалеет о ней», – писал Толстой в «Отрочестве». Леву поразила сама близость смерти, мальчик открыл для себя, что все сущее имеет конец, и свыкнуться с этой мыслью, конечно же, было нелегко. «Все время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю тяжелое чувство страха смерти, то есть мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью».

До нашего времени дошла сводка по основным доходам и расходам по всем имениям Толстых на 1837 год, сохраненная Татьяной Ергольской. Доходы были таковы: по Пирогову общая сумма составляла 10 384 рубля; по Никольскому – 12 682 рубля; по Ясной Поляне – 6710 рублей; по Щербачевке – 5285 рублей; по Неручу – 8958 рублей. Итого – 44 019 рублей.

Расходы же были следующие: взносы в Опекунский совет – 26 384 рубля; подушные за дворовых – 400 рублей; жалованье приказчикам в имениях – 1700 рублей; выдачи по назначению – 400 рублей; разъезды и подарки (не исключено, что речь шла о взятках) – 1200 рублей. Итого – 30 084 рубля.

Остаток составлял примерно 14 000 рублей, но для жизни в Москве этих денег было мало. 8304 рубля, судя по тем же записям, составляло совокупное годовое жалованье учителям, в 3500 рублей обходилась годовая аренда дома. На год жизни в Москве оставалось 2200 рублей. Этих денег не хватало, поэтому после похорон тетушки решили из соображений экономии разделить семью на две части. Четырнадцатилетний Николай и двенадцатилетний Сергей остались в Москве с тетушкой Алин, а Дмитрий, Лев и Мария вернулись в Ясную Поляну с тетушкой Туанетт. Лева был рад возвращению, он скучал по родному дому, а кроме того, ненавистный Сен-Тома остался со старшими братьями в Москве.

В конце лета 1841 тетушка Алин умерла в Оптиной пустыне, уйдя туда незадолго до смерти. Новой опекуншей стала другая тетушка – Пелагея Юшкова, которая забрала детей к себе в Казань. Пелагея Ильинична у детей авторитетом не пользовалась (хотя бы потому, что ее пришлось упрашивать принять на себя опекунство) и воспитанием их практически не занималась. В Казани закончилось детство Льва и началась самостоятельная жизнь.

Глава третья Молодой лев

Жажда чужого внимания, ради которого маленький Левушка когда-то выпрыгнул из окна второго этажа, в юности только усилилась. В Панове, имении Юшковых, расположенном на левом берегу Волги в двадцати девяти верстах от Казани, перед господским домом был пруд с островом. Как-то раз, летом, на глазах у гостивших в Панове барышень, Лев, не снимая одежды, бросился в пруд, желая доплыть до острова, и чуть было не утонул. Его спасли крестьянки, убиравшие сено. Они опустили в воду грабли, ухватившись за которые, незадачливый пловец выбрался на берег.

Когда настало время продолжить образование в университете, Лев выбрал факультет восточных языков. По тем временам восточный факультет Казанского университета пользовался известностью во всем ученом мире. Толстого привела сюда не страсть к ориенталистике, а более практические соображения. Достойный член аристократического общества (родство с самим Рюриком в глазах света значило много), он избрал было для себя самое аристократическое поприще – дипломатию.

Для поступления на восточный факультет нужно было сдать экзамены по истории, географии, статистике, математике, русской словесности, логике, латинскому, французскому, немецкому, арабскому, турецко-татарскому и английскому языкам. Более двух лет готовился Толстой к поступлению, и в сентябре 1844 года был принят в число студентов Восточного отделения философского факультета Казанского университета.

Студенческая жизнь пришлась ему по душе. «Я любил этот шум, – вспоминал Толстой, – говор, хохотню по аудиториям, любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей, любил иногда с кем-нибудь сбегать... выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело». Учился Толстой без усердия и прилежания, отдавая светским увеселениям гораздо больше времени, чем учебе. Да и вообще, его больше занимали рефлексии и самоанализ, нежели восточные языки.

Одна из казанских знакомых Толстого вспоминала о том, что на балах он неизменно бывал рассеян, танцевал весьма неохотно и вообще имел вид человека, мысли которого витают далеко-далеко. Вследствие этого между барышнями он считался скучным кавалером и популярностью не пользовался.

«В качестве родовитого, титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем Лев Николаевич был везде желанным гостем, – писал в 1894 году историк Николай Загоскин. – Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники, студенты аристократы; в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость; он, видимо, стеснялся тою ролью, которую его заставляли играть и к которой *volens-nolens* (волей – неволей. – *А.Ш.*) обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни».

Под влиянием нравов аристократического общества Толстой начал делить всех людей на светских и несветских, или на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas* и очень долго придерживался этого правила.

В Казани Лев сдружился с уланом Дмитрием Алексеевичем Дьяковым, бывшим на пять лет старше его. Познакомились они на репетиции – оба молодых человека принимали участие в постановке любительского спектакля. Конечно же, впоследствии эта дружба нашла отражение в «Отрочестве» и «Юности», где описывалась под видом дружбы Николеньки Иртенева с Дмитрием Нехлюдовым. «Души наши, – писал Толстой, – так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу».

У Мити Дьякова была сестра Александра, прекрасная, словно богиня. Льву она нравилась, но, сознавая собственную непривлекательность, он скрывал свои чувства к ней.

Оба друга находили ошибочным видеть в женщине прежде всего внешнюю красоту (во всяком случае – именно так они заявляли на словах) и находили, что следует выбирать такую спутницу жизни, которая способна помочь духовному совершенствованию своего мужа.

Духовное родство с Митей Дьяковым буквально опьяняло Толстого. «Я любил ту минуту, – признавался он, – когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь все более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее».

Несмотря на возвышенные мысли, голос плоти все сильнее напоминал о себе. «Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только когда мне было 13 или 14 лет, – вспоминал Толстой в дневнике, – но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою».

Двадцатипятилетняя горничная Юшковых звалась Матреной, Матреной Васильевной. «Может быть, я пристрастен, но по моему мнению трудно встретить более обворожительное существо», – признавался впоследствии Толстой. Чувства, испытанные к Матрене, нашли свое выражение и в «Отрочестве», где она была выведена под именем горничной Маши. Чувства эти описаны детально: «Ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть женщину, от которой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастье».

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, пережившего совершенно мой взгляд на нее... я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша... необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина, а мне было четырнадцать лет...

Я по целым часам проводил иногда на площадке без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и, так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу? Что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «Вот наказание! Что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакий... Отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится...» Она не знала, что Николай Петрович

сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости».

Все началось тогда, когда Николенька увидел, как один из лакеев пытается ухаживать за Матреной. Эта картина поразила мальчика настолько, что он никак не мог заснуть, чувствуя неясное беспокойство. Обычное дело для подростка, в котором начинает просыпаться чувственность. Затем главный герой узнал о том, что соблазнительной горничной оказывает внимание и его брат Володя (под именем Володи в трилогии был выписан Сергей Толстой). Устами Николеньки автор признавался: «Я всегда следил за его (Володи – Сергея. – *А.Ш.*) страстями и сам невольно увлекался ими». Разумеется, Николенька влюбился, и это страстное чувство на какое-то время завладело им полностью. С присущим возрасту максимализмом он наделил Матрену множеством вымышленных качеств, сотворив в своем воображении Идеал. «Она казалась мне богиней, недоступной для меня, ничтожного смертного», – признавался автор «Отрочества». Планы завоевания Матрены, вынашиваемые Львом, так и остались нереализованными:

Широкий нос и торчащие вихры – очень серьезная проблема, когда тебе всего четырнадцать лет.

Женщины волновали, будоражили, пугали, манили. Старшие братья решили «просветить» Льва, для чего привели его в публичный дом, где он расстался с невинностью. Первый опыт оказался шокирующим для впечатлительного подростка, все вышло настолько скверно и грязно, что, овладев пьяной, совершенно чужой ему женщиной, Лев расплакался от огорчения. Долгожданное, еще неведомое и оттого еще более прекрасное в своем предвкушении наслаждение оказалось грубым, нечистоплотным, весьма отталкивающим действием. Минутное блаженство сменилось чувством стыда, гадливости и какой-то внутренней опустошенности. Отныне на протяжении всей своей жизни Лев Толстой будет втайне стесняться своей довольно сильной чувственности и, будучи не в силах обуздать ее на деле, начнет со временем высказывать достаточно радикальные взгляды на взаимоотношения полов, называя плотскую любовь злом и призывая отказаться от нее вовсе.

Первый сексуальный опыт не нашел своего отражения в «Отрочестве» или «Юности», но совсем игнорировать в своем творчестве столь волнующую тему Лев Николаевич не мог. Он коснулся ее в рассказе «Записки маркера», герой которого плачет и упрекает своих приятелей, которые вынудили его переспать с проституткой: «Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

– Вам, – говорит, – смешно, а мне грустно. Зачем, – говорит, – я это сделал; и тебе, – говорит, – князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как зальется, заплачет...»

Примерно так же ведет себя в подобной ситуации и Александр, герой рассказа «Святая ночь», написанного практически одновременно с «Записками маркера» в 1853 году: «Он помнил еще... что женщина эта взяла его за руку и они прошли куда-то.

Через час у подъезда этого же дома... Alexandre... сел в свою карету и заплакал, как дитя. Он вспомнил чувство невинной любви, которое наполняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невосвратимо прошло для него. Он плакал от стыда и раскаяния».

«Кто виноват? – задается вечным вопросом автор. – Неужели Alexandre, что он поддался влиянию людей, которых он любил, и чувству природы?»

Увы, «чудный... невинный, радостный, поэтический период детства», славное время, когда «невинная веселость и беспредельная потребность любви были главными побуждениями в жизни», пролетел быстро. Внезапно организм начал предъявлять свои требования,

и делал это весьма настойчиво, вдруг была явлена новая, совершенно неизвестная сторона человеческих взаимоотношений, называемая «любовью» и в то же время не имеющая с настоящей, возвышенной любовью ничего общего.

Инстинкт возобладал над сознанием, подчинив себе чувства. Спасение можно было найти лишь в мечтах о том, что казалось юному Льву «высшим счастьем жизни». «В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства и одно из них – любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить... – писал Толстой в «Юности». – Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя... и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье – такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебного счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня».

На протяжении всей своей жизни Лев Толстой неоднократно будет пытаться начать ее заново, «с чистого листа», то на Кавказе, то в своем имении.

«В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастье, которое мне тогда казалось высшим счастьем в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его». Это тоже из «Юности».

Полугодичные экзамены в университете студент Толстой благополучно провалил. Обвинение в недостаточном прилежании и полном незнании истории было воспринято им как оскорбление. Лев приписал его козням одного из университетских преподавателей, который незадолго до экзаменов поссорился с Юшковыми, но чуть позже пришел к выводу, что виной всему послужила его собственная лень. «Оправившись, я решил снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздну и никогда не изменю своим правилам», – говорится в «Отрочестве».

1 января 1900 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Вспомнил свое отрочество, главное – юность и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал – никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать – только из подражания большим».

Для Льва настает пора раздумий, пора познания законов, которые движут миром, и осознания своего места в этом мире. Он много читает, читает бессистемно, переходя от Руссо к Дюма и от Дюма к Вольтеру, и непременно переосмысливает прочитанное, примеряя его к себе, к своим мыслям, к своим чувствам. Юноша замыкается в себе, становится небрежен в одежде и даже неряшлив. Он считает себя выше всего суетного, мирского, но есть одна область, возвыситься над которой ему так и не удастся. Лев ведет неустанную борьбу

с чувствами, которые вызывают в нем хорошенькие женщины, постоянно проигрывает ее и злится на себя все сильнее и сильнее.

Толстой решает продолжить образование, но теперь уже на юридическом факультете. В письме к тетушке Туанет он сообщает, что планирует совсем отказаться от выездов в свет, посвятив освободившееся время занятиям науками, языками, музыкой и рисованием.

Благие намерения улетучиваются очень скоро. Льву вообще свойственно быстро загораться какой-либо идеей и так же быстро остывать. Вечные сомнения приводят к постоянным разочарованиям. Первые же лекции на юридическом факультете кажутся скучными, особенно плохи, на его взгляд, лекции по истории, читаемые тем самым преподавателем, что пребывает в ссоре с Юшковыми. Лев систематически пропускает лекции без уважительной причины, за что, в полном соответствии с суровыми правилами того времени, попадает в карцер. Отныне он становится врагом истории, считая ее никому не нужной лженаукой. Правда, этого мнения Толстой не будет придерживаться на протяжении всей жизни, изменив его к началу работы над «Войной и миром».

В апреле 1847 года студент второго курса юридического факультета Лев Толстой покидает университет по состоянию здоровья и домашним обстоятельствам. Реальная причина заключается в том, что, разочаровавшись в университетском образовании, Толстой намерен впредь учиться самостоятельно. Он составляет план, в котором изучение всего курса юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете, соседствует с изучением медицины, языков, сельского хозяйства, истории, географии, статистики, математики. Седьмым пунктом в планах значится написание диссертации. Восьмым – достижение средней степени совершенства в музыке и живописи.

Толстой возвращается в Ясную Поляну, предвкушая светлое будущее.

В этом светлом будущем женщинам нет места. «Я начинаю привыкать к первому правилу, которое я себе назначил. («Исполни все то, что ты определил быть исполнену». – *А.Ш.*) И нынче назначаю себе другое, именно следующее: смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других – как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас. В теперешний же развратный, порочный век – они хуже нас».

Сонечке Берс в это время шел третий годик. Ее волновали совершенно другие проблемы, нежели те, которые стояли перед Львом Толстым, но, вне всяческого сомнения, с ее точки зрения они тоже были очень важными и значимыми.

Глава четвертая Взрослая жизнь

В своей «Исповеди» Лев Толстой писал о Татьяне Ергольской: «Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: *rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut*. Еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья, – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов».

Лев пригласил Татьяну Ергольскую, жившую у своей сестры, вернуться в Ясную Поляну и взять в свои руки ведение хозяйства. После дележа родительского наследства он стал единственным владельцем имения и прилегающих к нему деревень – 1470 десятин земли и 330 душ (семей) крепостных. Как младшему брату, ему досталась худшая часть наследства, но ее вполне хватало для безбедной и беззаботной жизни.

Поначалу Лев увлеченно занялся хозяйством, но надолго его не хватило. Тем более что все его начинания – от постройки по собственным чертежам механической молотилки до попыток духовного возрождения крестьян терпели неудачу. Вполне возможно, что за делами Толстой пытался забыть о женщинах.

Льву очень важно быть довольным собой. Это его главная цель, основное условие душевного комфорта. Но – пока страсти не обузданы, о довольстве не может быть и речи. Ужасная планида – из-за неудачного первого опыта предпочесть естественную, живую, радостную любовь любви вымышленной, идеальной, неестественной и всю жизнь оставаться в этом заблуждении. Навязанное самому себе воздержание оказывалось бессильным перед потребностями молодого здорового организма, каждое «грехопадение» влекло за собой раскаяние, и этому не было конца. Круг замкнулся.

Спустя полтора года деревенская жизнь опостылела окончательно. Толстой прервал свое добровольное отшельничество и отправился в Москву, где им, как человеком самостоятельным, обладающим собственными средствами, овладела новая страсть – страсть к азартным играм. Карты манили Льва к себе не меньше женщин, но вот везение большей частью обходило его стороной. Лев постоянно проигрывался, частенько погрязая в долгах.

В конце января 1849 года Толстой переехал из Москвы в Санкт-Петербург, где вновь воспылал страстью к учебе и даже решил держать экзамен на звание кандидата в Петербургском университете. Он пишет Ергольской: «...петербургский образ жизни мне нравится. Здесь у каждого свое дело, каждый работает и занят своими делами, не беспокоясь о других. Хотя подобная жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим браться за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности, двум необходимым качествам, которых мне решительно недостает, словом, к положительной стороне жизни. Что касается моих планов, вот они: прежде всего хочу выдержать экзамен на кандидата в Петербургском университете; затем поступить на службу здесь или в ином месте, смотря как укажут обстоятельства... Не удивляйтесь всему этому, дорогая тетенька, во мне большая перемена...»

Экзамена он так и не выдержал, передумал. Теперь ему захотелось стать военным, не иначе как казался пример старшего брата Николая, ставшего офицером и служившего на Кавказе. «Больше всего я надеюсь на юнкерскую службу, – пишет Лев брату Сергею. – Она

меня приучит к практической жизни, и *polens volens*² мне надо будет служить до офицерского чина. С счастьем, т. е. ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен прежде двухлетнего срока».

Однако вместо поступления на воинскую службу Толстой возвращается в Ясную Поляну, где, не в силах сдерживать страсть, изрядно разгулявшись в обеих столицах, начинает интересоваться служанкой тетушки Гашей. Должно быть, будущего писателя привлекал контраст между профессионалками, услугами которых он пользовался в Москве и Петербурге, и наивной простодушной девушкой.

Ухаживания молодого графа возымели свое действие – Гаша сдалась. Едва утолив свою страсть, Лев почувствовал обычную гамму чувств, сопровождавшую у него каждую близость с женщиной, – отвращение, недовольство собой и раскаяние. Для Гаши мимолетная связь с барином закончилась изгнанием – тетушка была возмущена ее «грехопадением» и прогнала несчастную от себя. Гаша перешла служить к сестре Льва – Марии.

Эта печальная история обрела вечную жизнь на страницах романа «Воскресение», в котором невинная девушка Катюша Маслова, соблазненная племянником своей благодетельницы и беременная от него, скатывается до проституции и воровства. Закручено куда замысловатее и трагичнее, чем в реальности, но ведь на то и роман, чтобы страсти в нем бушевали.

После Гаши была Дуняша, были крестьянки из деревень, а вдобавок граф наезжал в Тулу, губернскую столицу, чтобы развлечься цыганским пением, карточной игрой и прочими удовольствиями светской жизни.

Потом – снова Москва, снова беспутная жизнь, первые попытки написать что-то, кроме писем и дневника, новые планы, растущие карточные долги и, ставшие уже привычными, приступы раскаяния.

Встреча со старшим братом Николаем, приехавшим в отпуск, воскрешает мечты о военной службе. Впрочем, нет – вначале Лев решает отправиться вместе с братом на Кавказ. Это так романтично, так интересно, так оригинально! Поручив управление имением мужу сестры Марии, Лев вместе с Николаем 29 апреля 1851 года отбывает на Кавказ. Едут через Москву (надо же напоследок сполна вкусить радостей) и через Казань, где проводят больше недели.

В Казани Лев встретил Зинаиду Молоствову, в которую давно был тайно влюблен. Новая встреча разожгла слегка угасшую страсть.

Зинаида была дочерью казанского помещика Модеста Порфирьевича Молостова. Познакомился с ней при посредстве своей сестры, дружившей с Зинаидой. По свидетельству Марии Николаевны, Зинаида отличалась не только живостью характера и остроумием, но и богатым «внутренним содержанием». Зинаида не была красавицей, но пленяла окружающих своим грациозным обаянием, сочетавшимся с исключительным чувством юмора.

В июне 1851 года, спустя несколько недель после отъезда из Казани, уже на Кавказе, Толстой записал в своем дневнике: «Любовь и религия – вот два чувства – чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! – как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я припи-

² Волей-неволей (лат.).

сываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить.

Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не доволен убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо?.. Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье. Лучшие воспоминания в жизни останутся навсегда это милое время».

Толстой верен себе, вернее – своей непоследовательности. «На языке висело у меня признание», «Мое дело было начать», «я боялся испортить»... Верил ли он себе сам, когда писал: «Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней»? Ведь сразу же вслед за тем идет: «...я не доволен убежден, что она может составить мое счастье».

История любви Льва Толстого к Зинаиде Молоствовой закончилась записью в его дневнике от 22 июня 1852 года: «...Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня. Записался. Ложусь». Николай Тиле, муж Зинаиды, состоял чиновником особых поручений при казанском губернаторе, но впоследствии оставил службу и весьма успешно занялся коммерцией.

Спустя еще полгода Толстой напишет довольно трогательное стихотворение:

*Давно позабыл я о счастье —
Мечте позабытой души —
Но смолкли ничтожные страсти
И голос проснулся любви.....
На небе рассыпаны звезды;
Все тихо и темно, все спит.
Огни все потухли: уж поздно,
Одна моя свечка горит.
Сижусь у окна я и в мысли
Картины бывшего слежу,
Но счастья во всей моей жизни
Минуту одну нахожу:
Минуту любви, упования,
Минуту без мысли дурной,
Минуту без тени желанья,
Минуту любви неземной...
И тщетно о том сожаленье
Проснется в душе иногда
И скажет: зачем то мгновенье
Не мог ты продлить навсегда?*

Зинаиду можно угадать в Вареньке Б., героине рассказе «После бала», написанном Толстым в 1903 году, можно сказать – спустя целую вечность. В этом рассказе «всеми уважаемый Иван Васильевич» вспоминает о своей первой любви:

« – А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б..., – Иван Васильевич назвал фамилию. – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

– Каково Иван Васильевич расписывает.

– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый».

После выхода замуж Зинаида Молостова ни разу не встречалась с Толстым. Не видела в том смысле, или, быть может, боялась развеять тот поэтический возвышенный образ, который остался в памяти Толстого. Ее двоюродный племянник, журналист и критик Николай Германович Молоствов, вспоминал: «Через много, много лет, уже будучи в очень преклонном возрасте, З. М. Молостова-Тиле, по прежнему обаятельная и прекрасная в своей способности жить и утешаться всяческими иллюзиями, вспоминала о своем увлечении Толстым в словах, проникнутых трогательной сентиментальностью и нежной какой-то грустью о промелькнувшем светлом видении юных дней».

30 мая 1851 года братья Толстые добрались до конечного пункта своего путешествия – казачьей станицы Старогладковской, расположенной на левом берегу Терека, в которой стоял полк Николая. Льву станица не понравилась – в день прибытия он написал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Днями позже, в письме к тетушке Туанет он признается, что местный край далеко не так красив, как ожидалось, что квартира плоха, так же, как и весь быт в целом, что все офицеры совершенно необразованные, но, в общем-то, славные люди.

Постепенно Толстой прижился в станице, изучая казачью жизнь, столь непохожую на жизнь тульских крестьян, изучая кумыкский язык, самый распространенный в то время язык на Кавказе, и, конечно же, любясь красивыми казачками. Не только, впрочем, любясь, но и добиваясь время от времени их расположения. В повести «Казачья» Толстой писал: «Красота гребенской (Старогладковская была одной из станиц так называемого казачьего Гребенского войска. – А.Ш.) женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины».

Одна из станичных красоток наградила Толстого неприличной болезнью. Три долгие недели ушло на лечение и самобичевание. Раздраженный донельзя, Лев писал брату Николаю 10 декабря 1851 года: «Болезнь мне стоила очень дорого: аптека – рублей 20. Доктору за 20 визитов и теперь каждый день вата и извозчик, стоят 120. – Я все эти подробности пишу тебе с тем, чтобы ты мне поскорее прислал как можно больше денег... *La maladie vénérienne est détruite: mais se sont les suites du Mercure, qui me font souffrir l'impossible*³. Можешь себе

³ Венерическая болезнь уничтожена, но последствия лечения ртутью доставляют мне невыносимые страдания (фр.).

представить, что у меня весь рот и язык в ранках, которые не позволяют мне ни есть, ни спать. Без всякого преувеличения, я 2-ю неделю ничего не ел и не проспал одного часу». Не преминул страдалец пожаловаться и тетушке Туанет, стыдливо превратив в письме к ней венерическую болезнь в горячку.

Казацкая жизнь нравилась Толстому настолько, что одно время он видел в ней идеал жизнеустройства. Его, склонного к рефлексиям, самоанализу, копанию в себе, поражала и умиляла близость казаков к природе. В повести «Казачки» Оленин размышляет о том, что эти люди «живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет... Люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Должно быть, Толстому, как и Оленину, «серьезно приходила мысль бросить все, приспосабливаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке... и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы». Однако, испытав порыв, Оленин, подобно Толстому, спешит от него откреститься. «Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, – продолжает он, – красть табуны, напиваться чихирю, заливаясь песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я. Тогда бы другое дело; тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастливым».

Несомненно, жизнь Льва Толстого была бы гораздо лучше, сумей он еще в молодости отделаться от мысли о том, «кто я и зачем я». Возможно, одним великим писателем на свете стало бы меньше, но зато одним счастливым человеком больше.

«Мне многие советуют поступить здесь на службу, в особенности князь Барятинский, которого протекция всемогуща», – писал Толстой Татьяне Ергольской в августе 1851 года. Князь Барятинский был начальником левого фланга Кавказской армии. Мечты о военной карьере вновь завладели им. Толстой недаром упомянул о всемогущей протекции князя Барятинского, он серьезно рассчитывал на то, что князь будет способствовать его продвижению по службе. Пора было становиться героем, пора было доказать всем, и, в первую очередь, брату Николаю, что «пузырь» Лева способен не только спускать за карточным столом внушительные суммы. Кстати, последнему занятию Лев Толстой довольно часто предавался на Кавказе.

В ожидании прихода документов, необходимых для зачисления на военную службу, Толстой начинает работать над повестью «Детство».

3 января 1852 года Толстой был принят на службу фейерверкером IV класса в одну из батарей 20-й артиллерийской бригады. Экзамен на звание юнкера он выдержал на «отлично», хватило знаний, полученных в университете и почерпнутых из книг. Толстой счастлив, он сообщает об этом тетушке Туанет, признаваясь, что он очень рад подобной перемене в своей жизни, и прежде всего рад не быть более свободным. Теперь он находит корень всех своих ошибок в том, что он пользовался чрезмерной свободой. Утверждение спорное, но в чем-то оно справедливо. «Я думаю, – пишет Толстой, – что мое столь легкомысленное решение отправиться на Кавказ было ниспослано мне свыше. Мною руководила рука Бога, и я не перестаю благодарить его за это. Я чувствую, что здесь я стал лучше... Я твердо уверен, что все случившееся со мной здесь пойдет мне только на благо, потому что такова воля Божья».

В том же письме Лев, по своему обыкновению, с началом военной службы, начиная мечтать об отставке, рисует тетушке картину светлого будущего, такой, каким она представляется ему. Рисует авторитарно, эгоистично, заранее распределив роли и не сомневаясь в том, что они будут безоговорочно приняты его близкими: «Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей;

Вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что Вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю Вам о своей жизни на Кавказе, Вы – Ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; Вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами... Знакомых у нас не будет; никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой»; Вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка; все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни *papa*; и мы продолжаем ту же жизнь, только переменяя роли: Вы берете роль бабушки, но Вы еще добрее ее, я – роль *papa*, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мама, наши дети – наши роли: Машенька – в роли обеих тетенок, но не несчастна, как они; даже Гаша и та на месте Прасковьи Исаевны. Не хватает только той, кто мог бы Вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной любящей души. Нет, у Вас преемницы не будет. Три новых лица будут являться время от времени на сцену – это братья и, главное, один из них – Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас, как Вы нас, старых, будете называть по-прежнему «Левочка, Николенька» и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты... Все это, может быть, сбудется, а какая чудесная вещь надежда».

Домашний деспот, который воображает, как жена его «будет хлопотать»... Распределение ролей производится в полном соответствии с тем раскладом, который Лев Николаевич наблюдал в детстве. Так было и так будет, иначе и быть не может.

Служба вскоре опостылела. Сказались обиды (не представили к вожделенному Георгиевскому кресту), беспокойный распорядок жизни (о какой размеренной жизни можно вообще говорить на войне?), нелады с начальством (подполковник Алексеев, командир Толстого, был, по его мнению, болтливым дураком) и нелады с другими офицерами (те не любили Толстого за его высокомерие). Умиление простотой нравов и близостью к природе давно позабыто. Толстой жалуется Татьяне Ергольской: «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними». «Он гордый был, – вспоминал о Льве Толстом его сослуживец Щелкачев, – другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз его видал – все с книжкой...»

На Кавказе здоровье Толстого сильно расшатывается. Ревматизм, проблемы с пищеварением, нервное истощение. По совету врача он просит двухмесячный отпуск для поправки здоровья и получает его.

Толстой снимает домик в окрестностях Пятигорска и начинает лечиться, но без особого успеха. Ему докучает симпатичная хозяйка. «Она решительно со мной кокетничает: перевязывает цветы под окошком, караулит рой, поет песенки, и все эти любезности нарушают покой моего сердца, – писал Толстой. – Благодарю Бога за стыдливость, которую он дал мне, она спасает меня от разврата». Работа над «Детством» близится к концу – придиричивый автор завершает четвертую правку. 3 июля 1852 года он отправляет повесть извест-

ному поэту Николаю Некрасову, редактору литературного журнала «Современник». Имени своего не открывает, подписывая и письмо, и повесть инициалами Л.Н.

День 29 августа 1852 года стал знаменательным днем в жизни Толстого. В этот день он написал в дневнике: «Письмо от редактора, которое обрадовало меня до глупости».

«Милостивый государь! – говорилось в письме. – Я прочел Вашу рукопись (Детство), она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо с своей фамилией. Если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего ответа».

На вопрос о гонораре (Толстой, погрязший в невыплаченных карточных долгах, отчаянно нуждался в деньгах), Некрасов ответил, что «в наших лучших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике». За последующие произведения Николай Алексеевич пообещал назначить достойную плату.

Осенью того же года первая повесть Льва Толстого появилась в «Современнике» и была с восторгом встречена читателями.

Глава пятая

Война и литература

К весне 1853 года военная служба, вместе с самой жизнью на Кавказе, окончательно опостылили Толстому, и он начал хлопотать об отставке. Армейские бюрократы тянули с решением, Толстой страдал и злился.

Злился не столько на себя, сколько на князя Барятинского, который к тому времени стал начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса. Решение о поступлении на военную службу было принято Толстым не без влияния советов Барятинского. Честолюбивый юнкер надеялся, что протекция князя будет способствовать его продвижению по службе, но его надежды не оправдались. То ли Барятинский забыл о Толстом, то ли изменил свое мнение о нем.

В июле 1853 года Толстой написал князю довольно резкое письмо, излив в нем свое раздражение. Лев обвинил Барятинского в том, что тот причинил ему зло своими советами, которым наивный молодой человек «имел ветреность» последовать. Затем Толстой подробно остановился на том, как его обошли наградами, отличиями и производством в офицерский чин, в чем также находил вину Барятинского. «Я два года был в походах, и оба раза весьма счастливо. Первый год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал, на другой год, наоборот, неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал», – писал Толстой.

«Послал письма: Барятинскому – хорошее...» – записал он в дневнике.

Из-за назревающей войны с Турцией отставки были приостановлены императорским повелением, о чем Толстого известили в августе 1853 года. Решив извлечь из вынужденного продолжения службы как можно больше пользы, Толстой 6 октября подал командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, своему троюродному дяде князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову, докладную записку с просьбой о переводе в действующую армию. Просьбу свою Толстой обосновал желанием продолжать службу вместе с родственниками – двумя его четвероюродными братьями Горчаковыми, племянниками командующего войсками. Брат Николай к тому времени уже вышел в отставку.

Ожидание перевода было еще тягостнее, чем ожидание отставки. 26 ноября Лев писал брату Сергею: «Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры – больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души». 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать ее, чего не было прежде».

В декабре Лев жаловался тетушке Туанет: «Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни проходят бесплодно, для себя и для других; мое положение, возможно, сносное для других, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности...»

Отдушину Толстой находил в работе над тремя начатыми им произведениями: «Отрочеством», «Записками фейерверкера», «Романом русского помещика» и ведении дневника. Окрыленный успехом своей первой повести, он работал с упоением, видя в писательстве главное свое предназначение. Толстой пишет не для избранных, он пишет для всех, желая видеть своей аудиторией весь мир.

12 января 1854 года Толстой узнал о том, что переводится в Дунайскую армию. На следующий день он был произведен в офицеры, получив чин прапорщика. Началась под-

готовка к отъезду. Толстой спешил, так как намеревался по дороге побывать дома в Ясной Поляне. 19 января Толстой отправился в путь, проведя на Кавказе два года и семь с половиной. Настроение у него прекрасное. Уже после выезда из Старогладковской он записал в дневнике: «Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Отслужил молебен – из тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной... Нынче, думая о том, что я полюбил людей, которых не уважал прежде, товарищей, я вспомнил, как мне странно казалась привязанность к ним Николеньки. И перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится – не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошее».

В Бухарест Толстой прибыл 12 марта и тут же ощутил разницу между старым и новым местами службы. Если Старогладковская была настоящей глухоманью, то Бухарест – европейской столицей, со всеми полагающимися атрибутами светской жизни. Обеды, вечера, балы, итальянская опера, французский театр... Кузены тепло приняли Толстого, не менее радушной была встреча у командующего. «Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходиться обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это еще не решено», – писал Толстой.

Лев был рад переменам, в Бухаресте ему нравилось все, включая и сослуживцев, которые, в отличие от прежних, были людьми светскими, блестящими, утонченными. Деньги у Толстого водились – по его поручению был продан «на вывоз» огромный яснополянский дом (для проживания в имении остались два больших флигеля), продан за внушительную по тем временам сумму в пять тысяч рублей, поэтому нет ничего удивительного в том, что его снова потянуло к картам. Проигрывал он регулярно.

В качестве ординарца дивизионного генерала Сержпутовского Толстой был не слишком занят служебными делами. Избыток свободного времени позволил ему закончить корректуру «Отрочества» и отправить рукопись Некрасову. «Я еще и не понюхал турецкого пороха, а преспокойно живу в Бухаресте, прогуливаюсь, занимаюсь музыкой и ем мороженое», – писал Лев Татьяне Ергольской.

7 июля Лев Толстой описал в дневнике себя самого. Портрет вышел не слишком привлекательным: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, безо всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, –

славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них...»

Ввиду отступления русских войск штаб переехал в Кишинев. Здесь Толстой решил издавать журнал «Солдатский вестник», или «Военный листок», призванный поддерживать на должном уровне моральный дух воинов, но не получил разрешения императора Николая I. Лев огорчился и нашел, что служба при штабе ему наскучила. Очень кстати недалеко от Севастополя высадились французы и англичане. Толстой подал рапорт с просьбой о переводе. «Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня. В Крыму я никуда не просился, а предоставил распоряжаться судьбой начальству», – сообщал Лев брату Сергею.

7 ноября Толстой оказался в Севастополе. Увиденное поразило его и вызвало восхищение русскими солдатами. «Дух в войсках свыше всякого описания, – писал Лев брату Сергею. – Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов (вице-адмирал Владимир Корнилов – один из руководителей обороны Севастополя. – *А.Ш.*), объезжая войска, вместо: “Здорово, ребята!”, говорил: “Нужно умирать ребята, умрете?” – и войска кричали: “Умрем, ваше превосходительство. Ура!” И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24 французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые, раненные, не вышли из фронта. Чудное время!.. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».

В Севастополе Толстой начал писать рассказы об обороне города для некрасовского «Современника». Писал он правдиво, красочно, что называется «с душой», поэтому неудивительно, что рассказы эти получили высокую оценку во всех слоях русского общества, включая и самые высшие. Поговаривали, что недавно восшедший на престол император Александр II был настолько впечатлен, читая «Севастополь в декабре месяце», что тут же приказал беречь его автора и не подвергать его опасности, ввиду чего Толстого перевели в более спокойное место, подальше от сражений. Не исключено, впрочем, что командующий князь Горчаков решил поберечь и облагодетельствовать родственника, обещавшего стать знаменитым писателем.

Севастополь пал, Крымская война фактически закончилась, Толстой возобновил ходатайство об отставке, и, в ожидании разрешения, был отправлен курьером в Санкт-Петербург. На радостях, в канун отъезда он проиграл в карты почти три с половиной тысячи рублей, но это прискорбное событие не могло омрачить его радости.

19 ноября 1855 года Лев Толстой приехал в Санкт-Петербург. Остановившись в гостинице, он привел себя в порядок и сразу же отправился к Ивану Тургеневу, с которым состоял в переписке. Следующим было знакомство с Некрасовым. Тургенев настолько проникся расположением к Толстому, что уговорил Льва переехать из гостиницы к нему на квартиру (Тургенев жил тогда на Фонтанке, у Аничкова моста, в нижнем этаже дома Степанова). Толстой согласился, ему льстило подобное внимание.

Очень скоро Лев Толстой перезнакомился со всеми петербургскими литераторами того времени. Он произвел на всех хорошее впечатление, и отношения с новыми знакомыми установились самые дружелюбные.

«Приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, – писал Некрасов литератору Василию Боткину. – Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, являсь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша – сокол!.. а может быть, и – орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа – в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для первого номера “Современника” “Севастополь в августе”. Он рассказывает чудесные вещи».

Новые знакомые не могли отвлечь Толстого от старых привычек. Едва оказавшись в столице, он с наслаждением предался разгулу. Кутежи, карты, неизменные проигрыши, цыганский хор, публичные женщины... Душа, истосковавшаяся по привычным радостям, никак не могла насытиться.

Образ жизни Толстого вызывал осуждение у Тургенева. Если с тем же Некрасовым у Льва Николаевича установились ровные отношения, то споры с Тургеневым вскоре переросли в ссоры, некоторые из которых чуть было не заканчивались дуэлями.

Еще до знакомства с Толстым Тургенев некоторое время был увлечен его сестрой Марией, своей соседкой по имению, отчего изначально относился ко Льву очень тепло. Но вскоре поведение Толстого, его бесцеремонные замечания, нападки на то, что было дорого Тургеневу, привели к охлаждению отношений между ними. Толстому доставляло удовольствие выводить Тургенева из себя, сохраняя при этом полное спокойствие.

Они не могли разойтись навсегда – какая-то неведомая сила манила их друг к другу. Ссоры сменялись возобновлением отношений, совместными обедами, дружескими беседами, далее шли новые ссоры – и так без конца. Изменение отношений Лев Николаевич методично фиксировал в дневнике:

«Поссорился с Тургеневым».

«Обед у Тургенева, мы снова сходимся».

«С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся».

«Был у Тургенева с удовольствием. Завтра надо занять его обедом».

«Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. Тургенев уехал. Мне грустно...»

«Очень хорошо болтал с Тургеневым, играли “Дон-Жуана”».

«Приехал Тургенев. Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойду».

Тургенев и Некрасов в письмах к В. П. Боткину.

Из письма Некрасова к Боткину: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ [«Метель». – А.Ш.] и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Чорт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант!»

Из письма Тургенева к Боткину: «С Толстым я едва ли не рассорился – нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. Спор зашел очень далеко – словом – он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. – Когда-нибудь расскажу тебе, а писать неловко».

Услышав похвалу новому роману Жорж Санд, Толстой заявил, что просто ненавидит ее творчество, и добавил, что героинь ее романов, если бы таковые существовали на самом

деле, следовало бы назидания ради привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам.

Писатель Дмитрий Григорович вспоминал о Толстом: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей».

27 декабря 1855 года прапорщик Лев Толстой был переведен из действующей армии в Петербургское ракетное заведение. Да, существовало такое заведение, изготавлившее ракеты для морского ведомства и Кавказского края. Новая служба оказалась для Толстого просто фикцией, своеобразным переходным этапом между военной и гражданской жизнью.

26 марта 1856 года Толстого повысили в чине до поручика. Он воспринял это известие совершенно равнодушно.

26 ноября того же года Толстой вышел в отставку. Военная выправка, приобретенная за годы службы, сохранилась у него на всю оставшуюся жизнь.

Глава шестая

Валерия, или Храповицкий против Дембицкой

В середине июня 1856 года в гости к Толстому приехал его старый друг Митенька Дьяков. Толстой был очень рад встрече. Между делом зашел промеж ними разговор о женитьбе, и Дьяков посоветовал Льву Николаевичу жениться на его соседке Валерии Арсеньевой. «Шлялись с Дьяковым, много советовал мне дельного, о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня? Нет, случай», – записал Толстой в дневнике.

Судаково, имение Арсеньевых, находилось всего в восьми верстах от Ясной Поляны. Валерия была самой старшей из трех сестер, оставшихся сиротами после смерти отца. В 1856 году ей исполнилось двадцать лет, и, по меркам того времени, она чувствовала себя засидевшейся в девушках. Семья Арсеньевых состояла из тетки-опекуни, светской барыни с замашками придворной дамы, трех сестер – Валерии, Ольги и Женечки, и их компаньонки-итальянки мадемуазель Вергани.

Льву совет друга запал в душу. Он зачастил к Арсеньевым и начал присматриваться к потенциальной невесте. По старой привычке все свои наблюдения, суждения и выводы Толстой фиксировал в дневнике. Записи были самыми разными, порой совершенно противоречивыми:

«Беда, что она без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная».

«Валерия мила».

«Она играла. Очень мила».

«Валерия болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не переходящая, но постоянная страсть».

«Я с ней мало говорил, тем более она на меня подействовала».

«Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился».

«Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе».

«Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа».

«Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится».

«Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что ежели бы они могли остаться всегда такие».

«Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному ужасающи. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить».

«Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».

«Валерия ...не понравилась очень и говорила глупо».

«Валерия, кажется, просто глупа».

«Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа».

«Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».

«Валерия возбуждала во мне все одно [чувство. – А.Ш.] любознательности и признательности».

«Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра».

Толстой остается все таким же – непостоянным, нерешительным, сомневающимся, мгновенно увлекающимся и столь же быстро охлаждающимся. Осознавал ли он сам, чего ему

хочется больше – жениться на Валерии или поскорее забыть о ней? Толстому, конечно же, хотелось иметь семью, ведь семейная жизнь в какой-то степени соответствовала его жизненному идеалу, да и в светском обществе закоренелые холостяки вызывали насмешки, но не хотелось ограничивать свою свободу, которой он всегда так дорожил.

События развивались постепенно. 12 августа Валерия Арсеньева отправилась в Москву, желая присутствовать на коронации Александра II. Толстой проводил ее, найдя, что «она была необыкновенно проста и мила».

Разлука усилила приязнь. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке», – записывает Лев Николаевич в дневнике на четвертый день после отъезда Валерии. Обратите внимание – не «думаю», а «подумываю». Слово «подумывать» имеет в русском языке два значения – время от времени думать о чем-то и намереваться сделать что-либо. Можно предположить, что Толстой подумывал о женитьбе на Валерии.

17 августа он написал Валерии письмо с просьбой описать ему ее времяпровождение в Москве, письмо легкое, веселое, немного покровительственное. Толстой вообще относился к Валерии с позиции старшего товарища, можно даже сказать – наставника. Валерия не возражала, находя это естественным, ведь Толстой был старше и опытнее ее. К тому же он писал книги, и книги весьма неплохие.

С первых дней своего ухаживания Толстой всячески пытался привить девушке свои взгляды на роль женщины в семье и обществе, согласно которым каждая дочь Евы должна видеть свое предназначение в материнстве и служении своей семье. Можно представить себе, насколько его рассердило ответное письмо Валерии, в котором она с восторгом описывала московскую жизнь – ежедневные визиты, обеды, спектакли, музыкальные утренники, танцевальные вечера и даже военный парад, во время которого была такая давка, что девушке помяли платье.

Вдобавок Валерия совершила еще одну ошибку – написала не Льву Николаевичу, а тетушке Ергольской. То ли из скромности, то ли желая посылить разжечь пламя страсти в душе вероятного жениха.

Увы – вместо страсти разгорелась обида. Письмо, по признанию самого Толстого, «подрало его против шерсти». Лев Николаевич не любил, когда окружающие вели себя вразрез с его представлениями. В ответ он написал Валерии письмо, более похожее на отповедь.

«Судаковские барышни! – писал он. – Сейчас получили милое письмо ваше, и я, в первом письме объяснив, почему я позволяю писать вам, – пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти разочарования... Неужели какая-то смородина (имелся в виду помятый в давке туалет. – *А.Ш.*), *haute volée*⁴ и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко. Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это подерет против шерсти».

Толстой предостерегает Валерию от обольщения высшим светом, в котором сам пока что продолжает с удовольствием вращаться (годы графского «крестьянства» далеко впереди). «Любить *haute volée*, а не человека, нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречается дряни, чем из всякой другой *volée*», – пишет он. Валерия упоминала о ком-то из флигель-адъютантов (младшее свитское звание в Российской империи. – *А.Ш.*), Толстой отвечает: «Насчет флигель-адъютантов – их человек сорок, кажется, а я знаю положительно, что только два не годятся и дураки».

⁴ высшее общество (фр.).

Оканчивалось письмо саркастически: «Пожелав вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием, останусь ваш покорнейший, но неприятнейший слуга».

Молодая девушка из провинции немного повеселилась в Москве, поделилась своей радостью с теми, кого считала своими близкими, и получила в ответ хорошую взбучку. Ужели сам Лев Николаевич позабыл свои кутежи, визиты к цыганам, ночи, проводимые за картами или в публичных домах? Навряд ли. Скорее всего Толстой руководствовался древним принципом, гласящим: «*Quod licet Jovi, non licet bovi*» – «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Дюжину дней в дневнике Толстого не появлялось ни слова о Валерии, но затем, 4 сентября он написал: «О В. думаю очень приятно». Двумя днями позже, собравшись на охоту, Лев Николаевич заехал к Арсеньевым в Судаково, где «с величайшим удовольствием вспоминал о В.», еще не вернувшейся из Москвы. Прямо из Судакова, поддавшись порыву, он пишет Валерии письмо, полное раскаяния. «Меня мучает и то, что я написал вам без позволения, и то, что написал глупо, грубо, скверно», – признавался Толстой. Далее он интересовался – не сердится ли на него Валерия, и искренне желал ей побольше веселиться. Письмо было проникнуто духом раскаяния и не могло не тронуть сердце девушки. Опять же, отсутствие ответа могло означать полный разрыв отношений, чего Валерии совершенно не хотелось.

Она ответила сразу же. Написала, что не сердится нисколько на своего «любезного соседа» за его «мораль», которую ей всегда приятно слышать, потому что все советы Толстого «всегда очень полезны». Попеняв соседу на «незаслуженные замечания насчет тщеславия, гордости и пр.», Валерия писала, что она «совсем завеселилась, всякий день где-нибудь на бале, или в опере, или в театре, или у Мортье (француз, у которого она брала уроки музыки. – *А.Ш.*)». Отношения были восстановлены.

24 сентября, после полуторамесячного пребывания в первопрестольной, Арсеньева вернулась домой. На следующий же день Толстой навестил ее и... был разочарован. «Валерия мила, но, увы, просто глупа, и это был жмуций башмачок», – записал он в дневнике в тот же день. «Была В., мила, но ограничена и фютильна (пуста. – *А.Ш.*) невозможно», – добавил на следующий.

С вечной своей непоследовательностью, через два дня Лев Николаевич снова едет к Арсеньевым и даже остается у них на ночь, отметив в дневнике, что в этот вечер Валерия ему нравится. «Жмуций башмачок» позабыт, но уже на следующий день Толстой написал в дневнике: «Проснулся в 9 злой. Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Мортье, и оказалось, что она влюблена в него. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства. Читал “Вертера”. Восхитительно. Тетенька не прислала за мной, и я ночевал еще».

Через день, уже в Ясной Поляне, Толстой пишет в дневнике: «Проснулся все не в духе. Часу в 1-м опять заболел бок без всякой видимой причины. Ничего не делал, но, слава Богу, меньше думал о Валерии. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой, не дай бог, чтоб это было к Валерии. Она страшно пуста, без правил и холодна, как лед, оттого беспрестанно увлекается...»

Спустя неделю: «Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание...»

Очень скоро неприятное воспоминание становится приятным, и Толстой решает объясниться с Валерией, причем делает это довольно оригинально, при помощи аллегориче-

ского рассказа, в котором он фигурирует под фамилией Храповицкого, а она – под фамилией Дембицкой. Историю Храповицкого и Дембицкой Толстой рассказывает не самой Валерии, а мадемуазель Вергани, которая уже передает ее по назначению. Немного странный способ восстановления отношений подействовал. На следующее утро «Валерия пришла смущенная, но довольная», а самому Толстому «было радостно и совестно».

На радостях отправились в Тулу на бал, где, по впечатлению Толстого, «Валерия была прелестна». «Я почти влюблен в нее», – записывает он. Дневниковая запись следующего дня заканчивалась словами: «Я ее люблю». Лев Николаевич показал Валерии эту запись, девушка прониклась и вырвала страничку себе на память.

Через три дня, 28 октября, в дневнике Толстого появилась следующая запись: «... поехал к Валерии. Она была для меня в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит».

Удивительно – после некоторого периода ухаживания за девушкой, завершившегося признанием в любви, Лев Николаевич «совершенно невольно сделался» чем-то «вроде жениха»! Кем он еще мог оказаться? Опекуном? Наставником?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.